



# НЕВА

4  
2019

ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 1955 ГОДА

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

**Игорь ГАГАРИНОВ**  
Стихи • 3

**Владимир КАНТОР**  
Выживание. *Новелла* • 7

**Янис ГРАНТС**  
Стихи • 24

**Виталий ОРЛОВ**  
Евразия. *Повесть* • 29

**Валерий СКОБЛО**  
Стихи • 58

**Андрей НОВИКОВ**  
Книжные люди. Свадьба у банкира. Сто одна кляуза.  
Миша-пистолетик. Веселые вечера. *Рассказы* • 61

**Ирина МОИСЕЕВА**  
Принц большой крови. *Исторические картинки* • 79

**Ованес АЗНАУРЯН**  
Кафе на бывшей Крепостной улице. *Рассказ* • 122

### ВСЕЛЕННАЯ ДЕТСТВА

**Нурайна САТПАЕВА**  
Нет фотографии. Новогодний снег. *Рассказы* • 128

### ПУБЛИЦИСТИКА

**Игорь ЕФИМОВ**  
Новые «евфимизмы» • 136

**Владислав БАЧИНИН**  
Анти-Ницше: идея «смерти» Бога  
как продукт троллинг-стратегии.  
*Статья первая. Кто вы, профессор Ницше?* • 146

### КРИТИКА И ЭССЕИСТИКА

**Дмитрий КАПУСТИН**  
Антон Чехов: и снова Ницца,  
а вместо Африки — Италия (1900—1901) • 156

**Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА**

Духовные пути русского слова: Художественное воплощение христианской антропологии в «апокрифическом рассказе о Гоголе» «Путимец» • 170

**КРУГЛЫЙ СТОЛ**

**«Всё, что есть у меня, — мой язык».** Участники: А. Арьев, Б. Бартфельд, О. Глушкин, Д. Драгунский, В. Елистратов, В. Зубарева, В. Калмыкова, Е. Крюкова, А. Ласкин, Е. Невзглядова, А. Пурин, А. Семкин, М. Стригин. *Материалы Круглого стола подготовили А. Мелихов и Н. Гранцева* • 182

**ТЕАТРОТЕКА**

**Елена ЗИНОВЬЕВА**

Век восемнадцатый — далекий, близкий? • 197

**Алексей ПАНОГРАФ**

Театр слезам не верит • 202

**ПЕТЕРБУРГСКИЙ КНИГОВИК**

**Портрет поэта.** Станислав Минаков. «Помаху я рукой тебе издали...». **Заметки постороннего.** Наталья Гранцева. Шекспир и проблемы кинологии. **Книжный остров.** Публикация Елены Зиновьевой • 209

**ПИЛИГРИМ**

**Архимандрит Августин (НИКИТИН)**

На Иордан. Часть 7 • 237

---

Издание журнала осуществляется при финансовой поддержке Министерства культуры и Федерального агентства по печати и массовой коммуникации.

Перепечатка материалов без разрешения редакции «Невы» запрещена. Электронную распечатку рукописей присылать на почтовый адрес журнала (191186, Санкт-Петербург, а/я 9).  
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

---

Главный редактор  
**Наталья ГРАНЦЕВА**

**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:**

**Александр Мелихов** (зам. главного редактора). **Игорь Сухих** (шеф-редактор гуманитарных проектов). **Ольга Малышкина** (шеф-редактор молодежных проектов). **Елена Зиновьева** (редактор-библиограф). **Наталья Ламонт** (редактор-координатор).

---

Дизайн обложки **А. Панкевича**  
Макет **С. Булачевой**  
Корректор **Е. Рогозина**  
Верстка **Д. Зенченко**

---

---

Владимир КАНТОР

# ВЫЖИВАНИЕ

## Новелла

О, как мы любим лицемерить  
И забываем без труда  
То, что мы в детстве ближе к смерти,  
Чем в наши зрелые года.

*О. Мандельштам*

### I. Рождение

Очевидно, сами этого мало сознавая, мы почти каждый день (если не сказать час) ходим по краю небытия. И не срываемся туда по случайности. Каждый день может оказаться последним. Либо предпоследним, когда концовка жизни уже глядит в затылок, а ты этот взгляд чувствуешь. Или твои близкие чувствуют и пытаются тебя спасти. Меня спасала всегда мама. У каждого из нас своя история. У меня своя.

На старости лет, примерно за год до смерти, папа принялся писать подражание дантовской «Vita nova». Это смесь воспоминаний в прозе, которые проложены его стихами. Не уверен, что мне удастся опубликовать это сочинение целиком, поэтому беру из него отрывки. И, забегаая вперед, приведу стихотворные строки, которыми папа закончил свой текст:

Ты всей жизни моей услада.  
Как беспечен был первый акт.  
Неужель неизбежен закат  
горько-радостной «Таниады»?!

Ну а теперь к новелле.

Как вспоминаю, болел я в детстве без конца. Это были «мои университеты». И выхаживала меня, разумеется, мама. Но и вкладывала в меня то, что считала должным для русского мужчины. Воспитывала терпение, безумное, отечественное. С моими бесконечными болезнями: то парить ноги в горячей воде с разведенной там горчицей, горячей почти до кипятка. Помню, как искал в тазике ногами уголок похолоднее, как тихонько засовывал и тут же выдергивал ногу. Наконец ноги привыкали, тогда мама укутывала мои ноги сверху теплым, как правило, шерстяным одеялом, и так я сидел минут пятнадцать. Потом вынимал ноги, которые были красные, словно вареные раки, мама вытирала их, и я забирался в постель под теплое одеяло. Но это еще было терпимо. Хуже — горчичники, которые мама делала сама (в аптеках они были редкостью).

---

Владимир Карлович Кантор — доктор философских наук, профессор философского факультета НИУ-ВШЭ. По версии журнала «Le Nouvel Observateur» (2005) — один из 25 крупнейших мыслителей современности.

Они жгли, будто прожигали тело насквозь. Я хныкал, просил снять. А мама говорила: «А ты вспомни, как советские бойцы горели в танках. Им больнее было. А они из горящего танка вели бой. Вот ты так смог бы?» И я тогда бывал устыжен и терпел изо всех своих детских возможностей. С тех пор так и привык терпеть. Все терпел, исходя из тезиса, что другим бывало и хуже. Да и присловье бабушки, маминой мамы: «Христос терпел и нам велел», всегда помнил. Любую перемену в судьбе все-таки в результате мог перенести, правда, не всегда борясь, чаще склоняя голову перед неизбежностью. Очень въелась в меня через эту доктрину терпения идея жертвенности. Но и дикая обидчивость тоже. Не может человек просто поступаться своим Я. Требуется компенсация. Вот обидчивость и была такой компенсацией.

Моя жизнь началась практически с ухода на тот свет. Не успев появиться на этом, я судорожно начал бороться за то, чтобы здесь остаться, чтобы тот свет не втянул меня в свой страшный зев. Боролся я фактом своего существования, вот он я, не надо меня отсюда забирать, ведь рядом мама. Мама и боролась, одна, один на один со смертью, которая приняла облик общего послеродового заражения крови, сепсиса. Как понимаю, весь организм мой был отравлен, был сплошной гнойный нарыв, кровь не справлялась. Папа был в армии, помогала маме ее мама, да и папина мама пыталась найти хороших врачей, которые бы поняли, что происходит. То есть все понимали, что ребенок умирает, но в этот месяц вымерли практически все младенцы этого роддома, явившиеся на свет в дни, когда правил миром Овен. Я родился 30 марта 1945 года, шли последние месяцы войны, очевидно, диверсии, как говорили женщины, потерявшие детей, не было, была классическая российская нечистоплотность, когда зараза схватила всех. Пришел древний бог Мор, древнеславянский бог смерти, холода, голода и болезней, и забирал одного ребенка за другим. Бабушка Настя ходила в церковь во Владыкино, недалеко от Лихобор, приносила святой воды и, как рассказывала мама, обрызгивала мою постель, крестила маму и меня. Мама в это верила и не верила, все же она была комсомолкой и студенткой биофака, да и свекровь — член партии с 1903 года. И все же ее мама, бабушка Настя, была рядом, она выходила в свое время ее, сестру и брата. Правда, второго брата спасти не удалось — обезвоживание организма. Но и время было — без воды и отопления, лекарств не достать. Поэтому все шло в дело, святая вода тоже. Но спасла ребенка другая жидкость, которую только привезли из действующей армии и стали раздавать по больницам. Это был пенициллин, изобретенный британцем Александром Флемингом. Как писали французы, для разгрома фашизма этот британский медик сделал больше целых дивизий. Когда пенициллин попал в этот роддом, где лежали изможденные умирающие дети, врачи растерялись, их испуг передался, наверно, и молодым мамам. Все-таки что-то из зарубежной тьмы, хоть и союзники. Русские женщины, лежавшие с мамой, твердо отказались. Но была там одна докторша, которая приняла идею пенициллина и принялась уговаривать женщин. Согласилась одна мама. Все шикали на нее, что она хочет загубить сына. Но мама, приняв решение, принимала его продуманно и уже не отступалась.

Воображаю, хоть и с трудом, как она, выпрашивая у сестер чернильницу-непроливайку, перо-вставочку и сидя на краешке стула около моей кровати, изо дня в день писала папе длинное письмо:

*«Дорогой мой Карлушенька!*

*Вот ты и папа! Вот у тебя и Сын Володька! Все по порядку. 28-го я ушла к маме, там пробыла 29-го день, а вечером почувствовала боли и меня мама в 10 часов вечера отвезла. Хорошо то, что около дома была легковая, которая довезла нас до трамвая. Иначе было бы трудно идти: погода была прескверная: дождь, слякоть».*

Я помню эту дорогу от двухэтажного домика в Лихоборах до трамвайной остановки, примерно около километра. Дорога разбитая, в выбоинах и ухабах. Думаю, что в тот

год она была еще хуже, если учесть слякоть, в которой разъезжаются ноги, а мама несла не только себя, но и живот, в котором пребывал будущий младенец. Маленькая бабушка Настя, как могла, ее поддерживала. Но, наверно, очень боялась, как бы дочка не упала. Да еще десять вечера, уже темно, фонарей около лихоборских домов не было, свет из окошек совсем слабый. А легковая, которая их подвезла, стояла недалеко от дома. На ней приехал местный пахан Витек, из соседней комнаты. Он и приказал шоферу подвезти до трамвая соседок. Машина называлась «победа» и была шиком пахана. Редкозубый шофер не просто согласился, но еще и помог маме и бабушке влезть в салон.

*«Трамваем доехали до Вятского роддома, где меня моя мама и оставила. Сильные схватки начались часов с 12-и ночи и продолжались до 8 часов утра, когда и родился Вовка. Никогда еще не приходилось мне испытывать таких болей. Это что-то кошмарное! Тогда я тебя не ругала, а только думала в промежутках между схватками, что никогда больше не допущу до ребенка. Звала на помощь акушерку и маму. Казалось мне, что это никогда не кончится, что я никогда не разрожусь. Но все обошлось благополучно, безо всяких других последствий, без разрывов. Когда акушерка принимала, то спросила, кого мне: м. или д. Я ответила, все равно кого, только скорее. Ну а все-таки? — Мальчика. Через несколько минут она мне показывает мальчика. Черноголовый, шляпоносый, с большим ртом. Он мне сразу не понравился. Я махнула рукой, чтоб унесли. Мне было не до него. И на другой день, когда принесли кормить, то он мне опять не понравился. Сейчас он становится лучше. Но он что-то захворал, похудел очень сильно. Был такой толстенький, на 9 фунтов, а теперь одни косточки. Мне страшно за него. Мало ест, поносит. Была врач, но ничего определенного не сказала. Может быть, и ничего, но я очень волнуюсь. Ночью как ванька-встанька то и дело вскакиваю. Устала страшно».*

Бандитская легковая довезла до трамвая! Ситуация почти непредставимая для обеспеченного европейца.

Но самое главное и страшное, что волнение маму не обмануло. Надвигалась смерть. А про пенициллин еще никто не говорил, доктор, которая потом всех уговаривала, была на стажировке в соседнем роддоме. Пока же надо было, не подозревая, что спасение существует, переливать поцелуями свою силу жизни в ребенка. Искала помощи в профессорском доме родителей мужа. Там было чище и теплее. Ее выпустили. Она поехала в дом свекра и свекрови.

*«Только лягу, почувствую, что могу вытянуться отдохнуть, как малейшее его кряхтенье, писк, кашель — заставляют вскакивать с кровати, хотя и не хочется, ох, как не хочется вставать! У сынки волосики не совсем черные, а скорее каштановые и глазки желтые, но не черные. Нянчусь я с ним одна на Красност[уденческом]. Сразу из роддома приехала сюда, потому что должен был прийти врач, на следующий день (таков порядок: к новорожденному приходит врач на следующий день после роддома. Роддом дает телефонограмму в консультацию, и врач обязана прийти). А потом сына расхворался, и я застряла. Твоей мамы целыми днями нет, а если дома, то занимается, моя в Лихоборах. Топчусь я с ним одна, и нервничаю, и устаю, и пеленки, и сам он, не знаю, что делать с ним в некоторых случаях. Времени он берет уйму. Все время около него, не отходи. Условия здесь лучше и для меня, и для Вовки, но нет помощи. Как только ему будет лучше, то перебеда к маме. Беспокоит меня и учеба. Боюсь не отстать бы! В теории одно, а на практике-то получается совсем иное.*

Получила поздравительную телеграмму от генетиков. Обижаясь на Риту: я к ней приходила, а она не идет. Ведь и есть с кем оставить мальчика, не то что мне: одна, она с мамой и не идет.

Я знаю, ты сейчас ликуешь по поводу рождения сына. Я тоже очень рада. Рада, что вышло по твоему желанию. Но все-таки не рада всем заботам, которых ты не видишь.

*Когда я с тревогой смотрю за маленькую цепляющуюся жизнь, то думаю, что ее нужно сохранить для тебя. Не столько для себя, сколько для тебя.*

*Конечно, я очень хочу быть около тебя, чувствовать твою поддержку и заботу, видеть, как ты заботаешься о сыне, вместе радоваться первому лепету ребенка, вместе радоваться его улыбкам и тревожиться его недомоганиям. Все пополам и все легче. А то и тебе трудно без нас, и мне без тебя тяжело.*

*Об этом надо серьезно подумать. Надолго ли ты в Ч-ске? Прочно ли ты там? Каковы условия? И т. п. Получено письмо от Гриши, которое пересылаю тебе и прошлогоднее письмо Лили. Гриша устал от войны, но все так же успешен в своих подвигах. Об Иринке не пишет ни слова. Он сейчас в Венгрии».*

Дядя Гриша Чухрай был, наверно, самым близким другом отца по школе и по жизни. «Иринка» — его молодая жена, с ней он прожил всю жизнь. Во время войны он был десантником. Смешно сказать, но в 1943-м Чухрай попал вдруг в Челябинск. Там они неожиданно встретились. Война как разводила людей, так и сводила. У меня сохранилась открытка от Чухрая папе.

«3.3.43 г.

*Дорогой Карлуша!*

*Я ранен. Лежу в Челябинске в госпитале, что возле горсада (12-22). Здесь прием каждое воскресенье с 12.00—14.00. Но могут быть и исключения.*

*Жду тебя, родной!*

*Твой Гриша».*

Надо сказать, что отец был очень привязан к другу. Когда он скончался, моя жена Марина сфотографировала его кабинет. На полке с томами философов стояли фотографии молодого Григория Чухрая, еще офицера. К нему папа в госпиталь сходил вместе с мамой, об этом он рассказал в письме бабушке и дедушке *«Нельзя сказать, что в квартирном отношении жизнь наша с Танечкой была полностью налажена. До самого отъезда Танюши мы жили стесненно, не свободно, но с милым рай и в шалаше — и мы на судьбу не роптали. Делили два стула на четверых. И некуда было даже приткнуться, чтобы написать письмо. Стесняло и присутствие посторонних.*

*Сегодняшнюю ночь я снова уже спал в общежитии холостячком — отвык. И не жалею об этом. Танюша должна вам рассказать подробно, до мелочей, таков мой наказ, всю историю наших мытарств, смешную и печальную — шедевр трагикомедии. Но мы были счастливы. А в этом суть! Танечке же поручено рассказать о моем положении в школе, с моей работой, об условиях жизни. Танюша познакомилась буквально со всеми местами, кроме разве класса, связанными с моим существованием. Видела и столовую и баню и Дом красной Армии, и была на двух сценах, где я выступал и раньше и в ее присутствии. Словом побывала во всех исторических местах, связанных с именем «непризнанного гения». **Мы были вместе с Танюшей в этом самом госпитале, где лежал Гришенька.** Танюшенька вам расскажет и о самом главном — о моем переходе здесь же в училище на другую работу. С преподавателя авиасвязи — с работы тупой, в буквальном смысле, замораживающей и бесперспективной, на работу нач. клуба авиаполка, которая мне позволит заниматься самообразованием и литературной деятельностью».*

С Чухраем отец дружил всю жизнь. Они верили друг в друга, Чухрай подолгу жил у нас. Уже я помню, как одну из сцен «Сорок первого», где героиня Марютка, «черная кость», бранится с поручиком «из белогвардейцев», который не умеет чистить рыбу. Это буквально записанные слова мамы, которая ругала отца, что он не помогает ей на кухне. Но такова поразительная особенность искусства, что бытовая сцена, попав в другой, в художественный контекст, словно забывает о своем происхождении, становится частью другого образа, просто подпитанного живой жизнью.

Потом профессии их немного развели, но не сильно. Один стал полубезработным кинорежиссером, другой, отец, хотел быть всю жизнь философом, но профессионально стал им лишь в конце жизни, работать приходилось преподавателем истории партии.

\* \* \*

Удивительное создание женщина, жена и мать. Вроде мать прежде всего, но ощущает себя принадлежащей мужу, мужчине, хочет быть с ним. Пока это главное. И письма ее, как письма Элоизы Абеляру, много тоньше и много страстнее, чем письма философа. Она уже была у него в Челябинске, уже стала его женой:

*«Москва 16.V.44. Родной мой, Карлушенька! От тебя нет писем!*

*Я нигде не могу найти себе места, ни за что не могу взяться. А нужно заниматься, нужно сдавать. Взяла сейчас твои старые письма и перечитывала их.*

*Милый мой, мужчина мой, желанный, страстный, любящий! Какую муку и сколько счастья дает любовь.*

*Как тяжело чувствовать твое отсутствие и как легко, отрадно, ласково становится на сердце, когда подумаю, что ты мой, мой Карлушка, мой муж!*

*Обнимаю, целую, люблю до безумия нежного, любимого Мишку. Целую губы твои, щеки колючие, ласкаю гордого, умного, любимого, заглядываю в черные, тоскующие глаза твои, утопаю в счастье, блаженстве, чувствуя горячие поцелуи твои, нежные ласки, сильные объятия.*

*Пиши мне, жди меня, люби меня.*

*Твоя, вся твоя Таня».*

Суровый военный Челябинск для нее был в этот месячный отпуск маленьким раем. Это было местом расселения башкир, все же Россия была бесспорно многонациональной, которую объединил русский язык. По научным данным, Челябинская крепость заложена в 1736 году на месте башкирской деревни Челябы. Одной из причин строительства Челябинской крепости были нападения башкир на обозы с продовольствием. 13 сентября полковник Тевкелев «в урочище Челяби от Миясской крепости в тридцати верстах заложил город»<sup>1</sup>. Крепость была основана с согласия владельца земли, на которой планировалось строительство, — башкирского тархана Таймаса Шаимова, что в конечном итоге привело к освобождению его башкир от податного обложения. 20 июня 1742 года немецкий путешественник И. Г. Гмелин составил первое описание крепости: «*Эта крепость также находится на реке Миясс, на южном берегу, она похожа на Миясскую, но побольше и окружена только деревянными стенами из лежащих бревен. Каждая стена имеет примерно 60 саженей. Она заложена вскоре после Миясской крепости, а имя получила от ближайшего к ней, находящегося выше на южной стороне реки леса, по-башкирски Челябе-Карагай*».

Как вспоминал отец, «в жизни военного городка маму многое раздражало — особенно мое солдафонское выслуживание перед начальством, тогда как я хотел ей показать, что могу на строевой площадке командовать взводом не хуже других, в военном городке особенно делать было нечего после службы. Тянуло в Челябинск. Там был драматический театр имени Цвиллинга, где мы посмотрели „Два веронца“, а потом снова город — грязный, пыльный. От театра Цвиллинга (до сих пор не знаю — кем он был) мимо центрального телеграфа пролегал асфальтовое шоссе, а рядом проложены трамвайные линии. Между театром и телеграфом располагался центр города. На нем росла трава. Много. Целый луг и паслись беспастушные рогатые козы. Большой промышленный город нес „на себе“ самый громадный тогда в Союзе танковый завод, переданный из тракторного».

<sup>1</sup> <https://ru.wikipedia.org>

Отец писал в своей «Таниаде»:

*«Муж таниной подруги по МГУ работал на нем фрезеровщиком. Мы дважды навещали эту семью. Расспрашивали о заводе, о рабочих, об их житье-бытье, о его директоре, — малорослом и белобрысом еврее с выпученными серыми глазами, с изрядным шинобелем, всегда одетым во френч песочного цвета. Он имел право напрямую говорить по телефону со Сталиным. Еще бы! Выпускал танки. Танки себя хорошо показали в сражениях, а директор в организации их производства. Был неулыбчив и строг. Не прощал рабочим ни капли ошибки. От точности сборки зависел успех в бою и жизнь танкиста. За ошибки наказывал не сокращением (рабочих не хватало), — рублем — а их и без того было так мало, что в семье Наташи Русак не ели ничего, кроме крупной отварной, рассычатой картошки, посыпанной зеленым луком, выращенным под окнами, иногда картошку сдабривали нерафинированным подсолнечным маслом, на закуску — кусок черного хлеба и чай с диабетическими горошинами. Рабочие Зальцмана не любили. Весь день торчал на заводе, вникал во всякую мелочь. Мог бы больше заботиться о рабочих, а директора волновали только танки. После Сталинграда Сталин вручил ему Золотую Звезду Героя Социалистического Труда. Были у директора и другие награды, но Зальцман носил только эту. Я несколько раз бывал на заводе по договоренности Зальцмана с генералом Василием Беловым. Директору нужен был лектор, умеющий поднять настроение у рабочих рассказом о положении на фронтах, о поведении Западных Союзников. Я, наверное, это умел. Лекции были короткие, читались в минуты пересменок. А я, свободный от лекции до лекции, ходил по цехам, знакомился с рабочими, а заодно и с тем как они собирали танки, расспрашивал о семьях. Многие уже получили похоронки. Таня все это время сидела у Наташи, вспоминая мирные студенческие дни, преподавателей, друзей и гадала, что будет дальше, каким будет мир, когда победим. и что они сами собираются делать. Наташа была неизменно грустна. Возвращаться в МГУ не хотела., не могла. Молодость была в другой жизни. Мать состарилась, сын — малолетка, муж — кормилец. Хватило бы сил и средств дать высшее образование сыну, да не в Москве, а где-нибудь поближе. В Харькове, например. Распрощавшись с доброй семьей Наташи, ее мамой, чье лицо было похоже на рассычатую картошку, какой она нас угощала, с молодым, но уже лысым, худым, костистым мужем Наташи — который не чета был влюбленному в Наташу студенту — спортсмену МГУ, мы отправлялись в обратный путь, через пустое, без единого строения поле, если не считать столбов электропередачи. Шли пыльным шляхом 11 км. до города, да еще 11 км до авиаучилища без всяких внешних примет. Рядом с заводом театр казался игрушечным, а завод — грозным фронтовым укреплением. В городе все ему служило. Без грязи и пыли город был немислим, как и без луга с козами на центральной площади перед единственным театром, как и без обширного пустого пространства (11 км. на 11 км.), по которому пролегли остатки шоссе. Таня грустнела. А я ничем не мог ее подбодрить. Мои собственные перспективы столь резко отличались от того жизненного пути, какой мне рисовался до войны, что я своей голубушке не мог сказать ничего».*

Самое грустное, что, перечитывая письма тех лет и зная дальнейшее, я невольно усмехаюсь умствованиям отца, он был серьезен и высокопарен, наверно, отчасти эта высокопарность сидит и во мне до сих пор, но уже без серьезности отца, скорее, в сочетании с самоиронией, все же опыт поколений не напрасен. Отец писал родителям: *«Жизнь женщины-матери дороже значительнее жизни мужчины. И я приношу дань безмерной любви двум самым дорогим мне женщинам: той, которая мне дала жизнь — мамочке моей несравненной, и той, которая передает эстафету жизни в следующее поколение, Танюшеньке моей. И я уверен, папуша милый, что ты разделяешь мои взгляды, тем более, что таких как мамочка мало есть на земле. Уступить первое место женщине, значит стать*



самому выше, уступить первое место жене это значит уступить ей право на первоочередное внимание к ней и заботу о ней. Так рассудила природа. На такой основе я и хочу строить свои отношения с Танюшей. И поэтому, если вы меня любите, *больше любите Танюшу*. Родные мои! О здоровье вашем я знаю только из писем Танюши. Пишите мне чаще: о здоровье, о работе. Я вам писал уже — не знаю получили вы мои письма? Занимаюсь упорно и диаматом, и литературой, и английским языком. Меня приняли в члены ВКП(б). В одной из рекомендаций отмечено: „имеет серьезные способности литератора-поэта“. И это — в партийной рекомендации и автор большой начальник. Я получаю теперь «Правду», слежу за журналами, стремлюсь гармонически развивать себя, как эллин». Сочетание ВКП(б) и эллинства шло, конечно, от по-советски прочитанного Маркса. Но слова высокие оставались в письмах, а здесь между Лихоборами, роддомом на Вятской и Красностуденческим проездом умирал его ребенок.

\* \* \*

Мама смотрела на своего младенца, на меня, и тихо плакала. Сын их — вылитый отец, так она видела, так чувствовала. Но беда все ближе. И с кем поделиться, как не с мужем. Но она могла только повторять стихи, которые отец послал ей из Челябинска в 1942 году, когда окончил свою летную школу, дальше начиналась военная жизнь:

Война эта —  
судьбораздел.  
Нас вихрем она разбросала.  
Мы нынче  
все и везде.  
Я льюсь  
по отрогам Урала  
И если моя — Миасс,  
твоя судьба — Лихоборка,  
не сольемся,  
бурля и смеясь,  
не родим  
озерца-ребенка.

Что б ни были мы  
и где б,  
Но только бы  
Землю России  
реки наших судеб,  
иссохшую, оросили.

Ребенка они родили. А теперь он умирал.

Она писала ему письмо изо дня в день, но не отсылала.

*«Карлушенька, Володьке очень худо. Я плачу над ним днем и ночью. У него понос и рвота. Эти врачи ничего не понимают. А сынишка стал похож на мумию, не ест, не дышит почти. Господи, почему на нас такое горе! Я не вынесу! Боже мой, лучше бы я переболела не знаю как тяжело, только б он остался жив! Такой славный, хороший был мальышка и во что превратился!*

*Мама твоя поехала в город искать доктора. Но разве кто поедет сюда?  
Бедный мальышка! Неужели он не поправится?*

Врач сейчас была и хочет отправить меня с ним в больницу. У него токсическая диспепсия. Я с самого начала боялась именно этой болезни, т. к. в вятском р/доме инфекция на эту болезнь. Я по-моему тебе об этом писала. **Мальчик очень и очень плох. Я каждую минуту жду его конца.** Как тяжело, ты в данную минуту не знаешь, ты радуешься его рождению, а я мучаюсь за его жизнь. Она вот-вот оборвется. Это очень и очень тяжело. Во многом я сама виновата. Неумелая мамаша, плохо его кормила, а наставить было некому. Вот и получилось такое.

Карлушенька, как мне тяжело, как тяжело!! Твоя мама еще не приехала. Это была районный врач. Малышка, мой родной! Как же мне жаль тебя! Неужели, Карлушка, ты его не увидишь? Почему здоров Ритин? Почему должен погибнуть мой? Ты получишь это письмо, когда уже будет какой-нибудь результат. В хороший исход я не верю. У меня нехорошее предчувствие. Я так нервничаю, что у меня то появляется, то пропадает молоко.

Володьке все хуже. Мы с ним находимся в больнице. У него токсическое заражение. Сепсис. Это произошло от пупочка, т. к. при завязывании туда попала грязь. Карлушенька, ты себе не представляешь, как мне тяжело. Я, пока он был дома, все ночи напролет плакала над ним. Я выплакалась вся, больше, кажется, у меня слез нет. С 10-го стало много хуже, а 11-го ночью он у меня совсем умирал. Я была в таком отчаянии! Возьму его на руки и хожу по комнате, смотрю на него и не узнаю. Он так переменялся! Бледный до синевы, худой, личико заострилось, нос выдается, и глазки закатывает под лобик. Бедный мальчик! Он даже совсем не кричал: у него не было сил. От горя у меня пропало молоко. То появится, то пропадет. Я не могла его перепеленывать. Как разверну, так мне чуть плохо не делается. Ручки и ножки стали как палочки. Висит одна кожица. А от тебя получаю такие радостные письма. Мне еще тяжелее от этого. Но сообщить тебе о болезни сына — не могу. У меня не хватает духу убить в тебе радостное чувство. Но для меня это тяжелее: получать восторженные письма и видеть умирающего сынка. Тем более, что ты его не видел совершенно. Когда он родился, то был такой хороший, полненький, беленький, щечки розовые, а губенки красные. Как он тянулся губками к груди, когда хотел есть и как он улыбался хорошо. Я сама невольно на него смеялась.

А теперь он ни на что не похож.

Личико осунулось до неузнаваемости, цвета землисто синего, губки ввалились. У меня бывает такое тяжелое чувство, когда я на него смотрю. И в довершение всего, как я по-нервничаю, у меня пропадает совершенно молоко. Ну что же делать? Ну почему такое горе постигло нас? Ты бы видел его скорбное личико, видел бы, как он морщится от боли. Это полуживая мумия. Больно смотреть на него, все сжимается внутри от боли. Когда его не видишь, то немного успокаиваешься, а когда смотрю на него, мне невыносимо тяжело. Такая крошка и так мучается. Ему ведь идет только 17-ый день, а он уже так болеет! Он бы сейчас должен быть толстеньким, хорошеньким, а он потерял в весе 850 грамм. От него ничего не осталось. Когда его перепеленывают, то я вижу, что ручки и ножки у него совсем-совсем синие, тощие. Что осталось от мальчика!

16.4.45 г. Кажется мне, что сыну стало немного лучше. Но он еще сам не сосет, только глотает. Я ему уже даю в среднем по 50 грамм молока, но с ложечки. Он все время спит. Это тоже плохо, т. к. никогда не просит есть.

Сейчас он немного поправился, потолстел на личико. Цвет лица стал лучше, но синева около глаз и рта осталась. Может быть и поправится. Я целые дни сижу в больнице: с 6-и утра и до 11-и ночи. Встаю в 4-е и ложусь в первом часу. Здесь совсем негде отдохнуть. Но я на все согласна, лишь бы он поправился.

Такая крошка и уже болеет так сильно: заражение крови. Это преступление — так относиться к детям.

*Володьку 4 раза колют: вводят пенициллин. Я себе не представляю, как я тебя встречу, если сына не будет в живых. Это страшно и несправедливо — но я буду чувствовать себя виноватой. Так по-моему чувствует себя сейчас твоя мама, потому что она не смогла устроить меня в хороший роддом».*

Вот тогда и возникла идея пенициллина, от которого (по рассказу мамы) большинство женщин отказались из-за его иностранного происхождения. Впрочем, и те дети, которым кололи антибиотик, умирали один за другим, что окончательно отвратило женщин от этих уколов. Видя, что мама ей доверяет, доктор предложила маме переливание крови и введение плазмы. Иголкой надо было попасть в младенческую вену, которой и видно-то не было.

*«Ни ты, ни твой папа не видели Володьку. Неужели вы так его и не увидите? Я с такой нежностью думала о том, как мы будем с тобой вместе растить сына. А тут вот такое несчастье. Но м. б. он выздоровеет. Я от отчаяния перехожу к надежде, от надежды к отчаянию. Говорят, что эта болезнь проходит без осложнений. Но тут есть один случай с осложнениями — судороги. Уж если так, то лучше бы сейчас умер, чем быть каким-нибудь... Врач делает сейчас обход и с ней вместе студенты из техникума. Они мучают бедных крошек, учатся на них».*

Своей маме, бабушке Насте, она тоже писала. Но письма к бабушке не сохранились. Сохранились только строчки о ней в письмах к отцу. Беру ту, где тема родов: *«Были с мамой сегодня в бане, так я ехала в трамвае, а мне какая-то женщина говорит: «Знаете, вам очень идет быть беременной. Вы такая цветущая, розовая, полная». Лицо у меня, правда, не испортилось, а вообще-то я бочка настоящая, по крайней мере мне так кажется. Хотя девчонки меня уверяют, что я очень аккуратненькая. Володька наш после экзаменов тоже отдыхает. Во время экзаменов он сидел себе смирнехонько, а теперь брыкается так, что я иногда умиляюсь, а иногда сержусь, боюсь, что он мне сквозь мышцы ручонку высунет».* Уже потом, когда я приезжал жить в Лихоборы и мы ходили с ней в районную библиотеку менять книги, бабушка пересказывала мне мамины письма. О том, как усердно мама училась, как ее любил мой отец, как однажды ее из ревности чуть не утопила одноклассница. Мы шли через шоссе, переходили железную дорогу, по которой ходили электрички, бабушка спотыкалась о рельсы, но преодолела все препятствия. Мы влезали по откосу на станцию Петровско-Разумовскую, где бабушка переводила дух и ковыляла на своих уже скрюченных от старости ногах до библиотеки, где ее знали и даже привечали. Она до выхода на пенсию была учительницей младших классов. И осталась в ней любовь к книге, особенно к толстым романам, которые уже своей толщиной заслуживали ее уважение. Библиотекарша давала ей книги, которые, как она говорила, «пользовались читательским спросом». Помню названия: «Падение Порт-Артура», «Белая береза», «Кавалер золотой звезды». «Партизанский край», «Молодая гвардия».

Мама очень боялась директрисы роддома, она ей почему-то напоминала классную руководительницу ее класса Евгению Львовну. Евгения Львовна держала в трепете не только учеников, но и учителей. Суровый директор Павел Васильевич к ней подлизывался. Она преподавала русскую литературу, и когда доходила до темы «Маяковский», то всегда вызывала к доске отца, чтобы он рассказывал о поэте, а не она. «Карл, ты знаешь больше, а главное, эту дурацкую лесенку умеешь читать», — говорила она. У нее хватало разума, чтобы отдать себе отчет, кто лучше знает Маяковского. Маме было приятно, что так ценят влюбленного в нее.

Девчонки ей завидовали: самый красивый и самый необычный мальчик в школе, да еще из Аргентины приехал. К маме одноклассницы ревновали. А русская ревность стоит испанской. Но выживание от этой ревности, как и в другие моменты, случайно. В начале июня, за месяц до окончания десятого класса, девчонки из маминого класса

в жаркий день поехали на Москву-реку, на станцию Левобережная. Там уже стояли лоточницы с мороженым, продавали в мелких ларьках пиво и фруктовую газированную воду. На песке в кустах разлеглись молодежные компании. Мама не умела плавать, но Люда, первая красавица из их класса, уговорила ее вместе поплескаться. И повела ее дальше от берега. Со времен Лилит и Елены троянской многие девушки отличались бесчестностью и сексуальной свободой. Московская Люда была той же породы. Она всех парней сводила с ума, с некоторыми и любовью позанималась. Перед отцом она держалась недотрогой и скромницей. Но он любил истинную скромницу и Люду не очень замечал. Ее это злило. *Мама ей мешала.* Так ей казалось. Доведя маму до известного ей места, она вдруг неожиданно толкнула ее вперед, зная, что там яма, а мама не умеет плавать. Мама вскрикнула и пошла на дно. Она даже и сопротивляться не смогла, даже не побарахталась. Подлость одноклассницы лишила ее сил. Она уже лежала на дне, остатками разума понимая, что пришла смерть. И вдруг вода раздвинулась, ее подхватил молодой сильный парень и вынес на берег. Он видел, как одна девчонка притопила другую, и вдруг понял, что это всерьез. Вытащив маму, он сделал ей искусственное дыхание. Когда изо рта и носа мамы полилась вода и она стала дышать, парень вскочил и быстро ушел, не дожидаясь благодарности. Так она неожиданно выжила и поняла, что за выживание человека надо бороться.

А начальница роддома, заведующая, говорила очень жестко, даже жестоко. И усики у нее были на верхней губе, как у Евгении Львовны, только не черные, а редкие белесые. Мама лежала истощенная, зеленая, а та говорила: «Ну что вы, мамаша, убиваетесь? Всегда так было. Один умрет, другой родится. Знаете, сколько наших солдат погибло сейчас? И сколько продолжает погибать?! А все равно нас будет больше!»

Мама возразила, она знала, что такое война: «Здесь не война, здесь женщины рожают. У них нет оружия». Бабушка Настя обняла маму и кивала головой. А потом вспоминала и мне рассказывала, как я выживал.

Заведующая растянула губы, будто улыбнулась: «Женщины и на войне рожают. Война, милочка, еще идет, хоть наши уже в Германии, но враги могут быть всюду. Откуда нам знать, что случилось в нашем роддоме! Почему все дети заболели одновременно? Может, это рука врага? Да перестаньте, наконец, реветь. Вы женщина еще молодая, нового родите». Мама сквозь слезы шептала: «Я Вовку хочу, он уже есть». А заведующая пыталась подбодрить на свой лад: «Вы должны понять, что завтра вы проснетесь, а для вашего малыша завтра уже не наступит». Мама сквозь слезы упорно твердила: «Завтра для него настанет! И до самой его старости будет наступать!» Начальница хмыкнула: «Ну-ну! Верить надо. Но понимать также, что завтра не всегда приходит. Особенно для больных младенцев!» Тут мама вдруг сорвалась, в ней вспыхнула кровь сурового отца, деда Антона, тяжелого на руку: «Подите прочь, пока я вас чем-нибудь не ударила!» Та пожала плечами, но за дверь выскочила.

Приходила добрая доктор, которая колола меня пенициллином, вводила плазму. «Тихая еврейка и очень печальная, — как рассказывала потом мама. — Совсе не похожая на твою руководящую бабку, которая привыкла всем указывать, мол, она старший член партии и все понимает лучше других». Мама плохо относилась теперь к бабушке Мине, матери отца, проще сказать, ненавидела ее. Писать об этом я не буду, но сказать об этом должно. После возвращения отца из армии бабушка хотела, чтобы он делал поэтическую и научную карьеру, для этого нужно время, дети — это помеха. В те годы аборт был запрещен под угрозой тюрьмы, слишком велика оказалась убыль людей во время войны. Но бабушка Мина уговорила маму на аборт и сама его сделала на кухне, потребовав, чтобы мама не проговорилась об этом отцу. Мама еле выжила после этого непрофессионального вмешательства в ее тело. Но выжила.

Пока же отец был в армии, мама отстаивала всеми силами маленькую жизнь, ею сотворенную. В конечном счете ей сказали, что роддом с моим заболеванием не справится, и перевезли нас с ней в больницу для грудничков. Оттуда мама продолжала писать папе свое бесконечно длинное письмо. Перечитывая его, я поражаюсь тому, как мама все это выдержала, не сошла с ума, глядя, как то умирает, то снова оживает ее младенец.

Но вернусь к письму:

*«17.4.45. Мне кажется, что сегодня сыну лучше, хотя вчера вечером ему снова было хуже. Вчера приезжал Вайман. Я его не видела и не знаю, что ему сказала твоя мама. Тебе о болезни сына она говорить не велела. Если б я была дома, то попросила бы его осторожно рассказать обо всем. Ты радуешься и не знаешь, что сын тяжело болен. А нужно быть ко всему готовой. В письме не так скажешь, как может передать живой человек.*

*6.5.45 г. Письмо продолжаю спустя столько времени. После поправки сына, когда осталось нам быть в больнице несколько дней, ему вдруг в одну ночь стало страшно худо. 24-го я пришла утром и не узнала его — он снова синий, худой с пеной на губах. Стала вытирать — у него полон рот слизи. Позвала сестру — едва вычистили рот, а он опять и не сосет и не глотает. Все снова. Для меня это было страшное испытание. Дети больные в больнице и выздоравливают и умирают. Видеть последнее оч[ень] тяжело, слышать рыдания матери, когда у тебя такой же плохой сын. Я вся закаменела. Лечащий врач его в этот день была выходная. На следующий день ему сделали переливание крови, через четыре дня еще. Рвота у него была страшная. Он вялый, безразличный, неподвижный. Он совершенно не реагировал на уколы шприцем. Потом начал понемногу плакать. В эту ночь он сразу потерял в весе 270 грамм — в одну ночь! Потом понемногу стал набирать. 2-го мая нас выписали. В больнице я пробыла 20 дней! Итого у меня вырвано больше месяца — это больничные дни. А теперь, будучи дома, я снова боюсь оставить его. Он сейчас очень кашляет. Нужно бы его вымыть, ведь ему уже больше месяца, а он ни разу не купался. Для детей это после еды самое необходимое, но я боюсь его купать. Он еще очень и очень слаб. Из больницы он вышел с весом 3.150. Сейчас не знаю, сколько он весит, т. к. в консультации его побоялась развернуть: холодно. Врач приходила домой, послушала и сказала, что в легких ничего нет. Это меня беспокоило, т. к. к таким детям очень легко все присоединяется. А воспаление легких ему уже не перенести. Я сейчас в Лихоборах. Я так устала, такая стала нервная, за все это время я ни одной ночи не спала спокойно с 30-го марта. Сейчас мама сменяет меня на несколько часов, и я спокойна. Мама так нянчится с ним, так беспокоится, мне это очень приятно и я спокойна, когда оставляю его, хотя еще не оставляла, т. к. в университет еще не ездила.*

*И мамам-то я наделала хлопот с сыном своим. Твоя мама много приложила энергии, когда я была в больнице. Она сама часто туда ходила; все знали, что здесь лежит Кантор от няни до зава. Она доставала пенициллин, когда его не было в больнице. Моя мама ходила каждый день в р/дом и теперь в больницу регулярно через день».*

9 мая мама сходила в детскую больницу, где получила выписку из истории болезни и справку, что ребенок практически здоров. Вечером был салют. День Победы. И мама всегда отмечала два моих дня рождения — 30 марта и 9 мая.

## II. Кропотово

Из папиной тетрадки: *«Кафедру для специализации Таня по тем временам выбрала рискованную — кафедру формальной генетики (менделизм-морганизм) И другие студенты выбирали эту кафедру не в расчете приличного трудоустройства после окончания МГУ, хорошего заработка, а исключительно движимые познавательным интересом. Выводить новые сорта растений — это ли не захватывающая цель для биолога?*

Посоветовал Тане предпочесть кафедру генетики мой отец, ибо, как геолог и минеролог, знал — отчасти и наблюдал — действие генетических законов в преобразовании горных пород, и сложении разных по плодородию почв. Он давно уже склонялся к выводу, что законы генетики универсальны. Его другом в Академии был известный генетик Антон Романович Жебрак, не отрекшийся от генетики. Однако для генетики наступали черные дни. Лысенко готовился к своему одобренному Сталиным докладу на сессии ВАСХНИЛ в августе 1948 года. А пока подбивались организационные выводы, Таня закончила МГУ и получила звание младшего научного сотрудника. Проф. Навашин взял ее с собой на ЭКС-ПЕРИМЕНТЫ в дивное место Кропотово (Каширского района) на Оке. Я и сын наш Володя с согласия проф. поехали с нею. У меня в это время были каникулы. Счастливые месяцы. Мы втроем садились в лодку, Таня проводила селекцию с тычинками и пестиками белых, широко раскрывших свои лепестки цветами, плавающими по всей поверхности медленно текущей реки, потом надевала на каждый бутон из прозрачной, дышащей непромокаемой бумаги колпачок и подвязывала их белой тесемкой, как будто капюшончик надевала на голову младенца. Так мы плавали по Оке несколько часов. Можно было бы закончить работу раньше. Но чувство ответственности, свойственные Тане, проявлялись и здесь. Моя задача сводилась лишь к тому, чтобы направлять лодку к очередному цветку. И в неподвижном состоянии удерживать ее, пока работа над очередной белоголовкой не закончится. Вовочка наш болтал ногами и ручками в воде и напевал детские песенки. Никаких поползновений перевернутся за борт у него не было».

Поползновение случилось чуть позже.

«Я слушал команды Тани, а сам любовался молодой женой, ее загорелым красивым торсом, спиной и узкой талией, в которых не было ни одной лишней жиринки, прекрасным, как широкая греческая ваза вылепленным тазом, крепкими бедрами безугны и всей ее спирально изогнутой фигурой. Я уж не говорю о рыбаках, редко проплывающих мимо и зазывающих ее к себе, ею любовались рыбы, стайками подплывающими к ее рукам и цветы, которые она обихаживала. Но на несчастье был выдан скоростной билет. В августе всех представителей биологически „вредной буржуазной науки“ — генетики разогнали кого куда. Сокращали с работы крупных, с мировым опытом, ученых по причине „научной несостоятельности“. Закрывали Институты, кафедры, научные лаборатории. Таня ни разу не пожалела, что выбрала эту гонимую кафедру. Среди ученых разочарование было сокрушительным: профессор Собинин кончил жизнь самоубийством, проф. Голубев умер от разрыва сердца. Генетик академик Жуковский, боясь потерять свою молодую жену, написал обширное покаянное письмо в газету „Правда“. Раскаялся. Его простили и чуть ли не наградили. Таня ни на секунду не усомнилась в выборе специальности, убедившись в ее истине и шарлатанстве Лысенко. Именно как генетик-селекционер она внесла после разгрома лысенковщины заметный вклад в отдаленную гибридизацию плодовых. С этих работ Таня могла бы начинать, если бы не Лысенко. Потеряны были годы».

Но и в Кропотове, где была биостанция, основанная биофаком МГУ, не сплошная лирика, не обошлось без ситуаций, почти катастрофических. Хотя красота там была почти нереальная, осталось фото сада на территории биостанции. И время проходило в разговорах о науке и в волейбольных играх. Это все рассказы мамы и папы. У них сложилась небольшая компания образованных и нестарых людей, молодых коммунистов и фронтовиков, особо прилип к молодой семье местный красавец грузин, доктор Гоги. Ему мама нравилась. Он любил ее молча, но два раза в неделю всегда приносил букет цветов. Гоги тоже работал на биостанции терапевтом, но приходилось ему быть всем на свете, даже хирургом. Он говорил маме: «Когда Карл тебе надоест или он тебя бросит, иди к Гоги. Гоги тебя всегда примет». И принимался насвистывать «Сулико». Папа, по словам мамы, немного ревновал, но старался виду не подавать.

Мне было три года, иногда, правда, кажется, что вспоминаю, но холодный рассудок говорит, что слишком у меня живое воображение. Но этот случай вроде бы сам запомнил. Было 11 июля. Завтра — 12 июля — Петров день и мамин день рождения. Но мама хотела еще сегодня на реку — поработать. У берега стоял на воде причал, куда два раза в неделю подходил маленький пароходик, по бокам колыхались на воде лодки, в одной из которых папа возил по Оке маму. Вот и в тот день он сидел в лодке, ожидая маму, а я лазил по перилам причала. Папа краем глаза наблюдал и за мной. Но на момент отвернулся и успел только увидеть, что я весь уже ушел в воду головой вниз, только две ножонки еще наружи. Реакция отца была мгновенна. Он ухватил меня за ноги и вытащил из воды, принялся встряхивать, и я задышал, отплеиваясь. Мама, замерев, стояла на берегу. Она видела мое падение, потому и замерла. Когда я отплевался, мама прыгнула в лодку, молча погрозила отцу кулаком и взяла меня на руки. Эти моменты отложились в зрительной памяти: закрываю глаза и вижу. Вижу и то, что папа не записал в свою «Таниаду», ему это казалось мелочью. Но я-то помню, как папа поплыл за кувшинкой, куда не проходила почему-то лодка, сорвал, принес, протянул маме и попытался нагнуть ее голову, чтобы поцеловать. Лодка едва не перевернулась, мама испугалась, вскрикнула, ведь плавать она так и не научилась. Но папа был в хорошей спортивной форме после армии, лодку он удержал и сам вскочил в нее, правда, еще больше накренив. И мы поплыли к берегу. Однако когда папа выплыл из зарослей, за ним следом метнулось черное змеиное тело. Но папа уже был в лодке. Сам не знаю, привиделась ли мне раскрытая пасть змеи, но помню, что змеей мама обзывала свою свекровь после диких абортов.

Помню рассказ мамы, как однажды ночью во время сна ей приснилось, что к ней ползет огромная черная гадина. Мама аж задохнулась от ужаса. И проснулась вдруг от удара. Любимый муж Карл со всей силы ударил ее рукой по голове. Сам проснулся, схватил ее голову, принялся целовать и шептать, что ему приснилось, как к маминой голове ползет черная гадюка, страшная гадина с разинутой пастью.

Следующий день было мамин день рождения, который почему-то все называли Петров день, я в свои три года ничего не понимал, но видел, что все соседние дома как-то по-праздничному прибраны и по домам ходит местный священник отец Андрей. Папа и студент Илья из маминой экспедиции, тоже бывший фронтовик, сидя на крыльце, вдруг решили провести антирелигиозную пропаганду — спойть попа, чтобы простые люди поняли, что религия — это сивуха, хуже самогона. Правда, хозяйка дома, баба Люба, с волосатенькой бородавочкой под правым глазом, вдруг сказала отцу: «Карл, ты человек хороший, хоть и не нашей веры, не трогай отца Андрея, у него несчастье в прошлом году случилось. Сын Павел ему сказал, что Бог жестокий, что *всех младенцев разрешил Ироду убить, а своего сына Иисуса спас*. Тут отец Андрей ему и врезал. А он пошел и утопился». Отец покачал головой: «Детей нельзя бить». Кстати сказать, он ни разу меня за все мое детство не ударил. Отец добавил: «Что же он не по-христиански жил — сына бил?» Баба Люба покачала головой: «Видно, что ты другой породы. В России всегда детей били, они крепкими вырастали. А отцу Андрею нелегко — в церкви проповеди читать, о прихожанах заботиться...»

Бывший фронтовик, студент Илья отпустил студенческую шутку: «Ну да, на груди крестик, а в груди нолик». Отец возразил: «Не надо так, пойдем лучше в народ». Но вначале они выпили за мамино здоровье и пожелали успехов в работе. Пожелали, чтобы следующий год принес расцвет генетике. И чтобы к следующему дню рождения мама написала диссертацию. Немного спотыкаясь о кирпичи, набросанные вокруг крыльца, приготовленные, чтобы крыльцо укрепить, они ушли туда, где отец Андрей обходил прихожан, выпивая с каждым из мужиков по рюмке, по две, приговаривая, как рассказывал маме Илья: «Еще по одной. Не воз-бра-няется!» Два бывших фрон-

товика решили, что они легко перепьют попа. Пили с ним вровень и даже подначивали каждый раз добавить. Отец Андрей не возражал. А офицеры радовались, что скоро народ увидит пьяного попа. Но поп даже не морщился, пил и поглядывал с интересом на отца и Илью.

Офицеры вначале хотели перегнуть отца Андрея, потом лишь старались не отставать. Как рассказывала потом мама, отец в какой-то момент вспомнил о своем челябинском кошмаре, когда его напоили однополчане. Но сейчас остановиться уже он не мог (впрочем, как и тогда), да и деревенские, и батюшка на него глядели. Однополчане устроили ему в тот день (это было начало 1943 года) большую пьянку в армейской столовой за какой-то его летный успех. На улице было холодно и снежно. Офицеры сидели за длинными столами, пили водку из стаканов и самогон, закуски было немного: хлеб, сало, яичница на огромной сковородке. Пили стакан за стаканом: «Ну, Карл, за тебя! Ну будь!» Потом стали распознаться. Отец еще сидел за столом, хотел дать денег официанткам. Отдал немного, денег почти не было, но девушки и этому были рады. Отец уже подняться не мог, но крепкие челябинки вывели его на крыльцо и ткнули рукой в направлении казармы, куда, спотыкаясь меж сугробов, отец и побрел. Пока ему смотрели вслед, но держал форму и шел, хоть и пошатываясь. Шел по направлению к казарме, над дверью которой висела тусклая лампочка. Не доходя метров двадцати, он поскользнулся и рухнул в сугроб. Сколько он там пролежал, отец не помнил. Но когда начало светать, он очнулся и на четвереньках добрался до казармы. Вполз в дверь, дополз до койки и влез на нее. И отрубился.

Ровно в восемь, его начали трясти за плечи, содрали одеяло и кричали: «Кантор, срочно! Генерал вызывает!» Отец выскочил из-под одеяла, его вывели на крыльцо, где уже стояла бадейка с ледяной водой, в которой он умыл лицо и шею, чтобы прийти в себя. А дальше ужас советского времени, надел брюки, китель, влажную от валяния в снегу шинель, натянул сапоги, не думая о последовательности действий. И вдруг ощутил странную пустоту в карманах кителя. Сунул руку в один, в другой. Ни военного билета, ни партбилета не было. «Ребята, — спросил он растерянно, — никто партбилета и военного билета у меня не забирал, не прятал? Не надо так шутить!» Но никто не брал, все бросились искать, нигде этих документов не было. Вбежал вестовой: «Кантор, ты идешь? Генерал сердится!» Отец, уже более чем протрезвевший, махнул рукой и двинулся из казармы. Самый большой доброжелатель вдогонку бросил: «Штрафбат, не меньше!»

Отец шел, думаю, на дрожащих ногах, но, подойдя вначале к двухэтажному каменному домику, где находился штаб, а потом к кабинету генерала, он распрямился и вошел строевым шагом: «Товарищ генерал, по вашему приказанию старший лейтенант Кантор явился». Тот, не вставая из-за стола, сказал: «Ну здравствуй, старший лейтенант! Хорошо, что явился. Значит, проступков за собой никаких не чувствуешь?» Отец посмотрел честно в глаза генералу и выговорил: «Чувствую, товарищ генерал!» Тот, ухмыльнувшись, с любопытством посмотрел на отца: «И что это за проступок?» Отец встал по стойке смирно: «Очень много выпил вчера, товарищ генерал». Генерал покачал головой: «Для офицера это не такой большой грех». — «Спасибо, товарищ генерал!» — ответил отец. Генерал покачал головой: «Ладно, Кантор. Пьянка — это ерунда. Где твой военный билет и партбилет?» Это было начало катастрофы. Отец распрямил плечи по стойке смирно. «Не могу знать, товарищ генерал; кажется, потерял. Или кто-то вытащил из кармана, пока я лежал пьяный». Генерал отодвинул стул, встал, опершись ладонями о стол. «Ты понимаешь, что это значит? Если не расстрел, то штрафбат, как минимум!». Отец щелкнул сапогами и сказал: «Служу Советскому Союзу!» А что еще он мог сказать! «Вот и будешь служить, куда Родина пошлет. И не надейся,



что на крыльях полетишь. Пешком пойдешь, в пехоту тебя отправлю, чтобы советскую авиацию не позорил!» Отец снова сдвинул сапоги: «Служу Советскому Союзу».

Генерал помолчал. Потом вдруг выдвинул ящик своего стола и бросил на стол военный билет и партийную книжку. Отец обмер, но руку к ним протянуть не решился: «Откуда это у вас, товарищ генерал?» Тот помотал головой: «Дурак ты, Кантор. Хотя летчик хороший. Это я у тебя документы из кителя достал. Ведь мог и чужой достать. Что бы мы тогда делали! Ладно. Забирай. Свободен. Можешь не благодарить. Иди».

Так благополучно закончилась первая грандиозная пьянка отца. Вообще-то, он почти не пил. Какая муха его укусила с отцом Андреем? Скорее всего, большевистская, воспоминание комсомольской юности и читанного когда-то журнала «Безбожник». Когда Илья отпал, отец еще держался и шел из избы в избу, поддерживаемый отцом Андреем. Кончилось все это так. Отец Андрей приволок отца к избе и аккуратно сложил на траву. Постучал в стекло, вызвал маму и степенно направился к другим прихожанам, поставив на крыльцо баночку с какой-то жидкостью, сказав маме: «Ты, Татьяна, утром дай ему стакан браги, это помогает».

Ночь прошла беспокойно. Мама все время бегала и меняла отцу мокрую повязку на лбу. Он вертелся, тяжело дышал, а потом вдруг стал кричать: «Таня, земля круглая!» Планетарное устройство он постиг без помощи Коперника и Галилея, а всего лишь с помощью пары стаканов самогона. Впрочем, я не прав. Все же отец был летчик. Просто самогон опытно подтвердил, что он и без того знал. Земля кружилась и плыла. Это он юной жене сообщал. Утро все же наступило. Отец поднял голову, перевернулся на живот и встал на четвереньки: «Таня, дай мне кружку холодной воды». Мама приказала мне не слезать с постели, налила кружку колодезной воды и наполнила из колодца ведро. И пошла к папе. Первым делом она вылила ему на голову ведро воды, папа принял это покорно, понимая, что виноват. Выпил воду, стуча зубами о железную кружку. Мама сказала, протягивая ему пол-литровую банку с брагой: «Выпей, станет легче». Отец сморщился, но выпил и отправился спать под яблоню.

Баба Люба сказала: «Не переживай, Таня. Вроде он все же непьющий. Пойди лучше делом займись. Дала похмелиться, а теперь белье хоть постирай! А Вовка вон на крыльце поиграет. Солнышко на дворе. Пусть погрееется». Мама согласилась: «Пусть». Достала корыто, залила туда ведро холодной и ведро согретой воды, пустила терку, бросила рядом белье и взялась за стирку. А я отправился на крыльцо, сходить с крыльца мама мне запретила, чтобы она могла за мной следить. Делать было нечего, и я ловил разомлевших на солнце мух. Я ползал по крыльцу, хлопая ладошкой по разнежившейся мухе, но лучше всего было хватать их, когда они сидели на перилах или ползали по столбикам, на которых перила крепились. Скоро мухи стали меня опасаться и отлетали все выше, пристраиваясь на столбиках. Я пытался дотянуться, вставая на цыпочки. Потом нашел в сених ящик, в котором баба Люба хранила овощи. Подтащил его к перилам. Встал на коленки на ящик, ухватился руками за перила и поднялся. Ящик стоял прочно. До некоторых мух я сумел дотянуться, но две нагло не давались. Я уже вел к ним согнутую ладошку, в которую намеревался ухватить их, хотя бы одну. Но ближайшая успела улететь. Я влез на перила и, балансируя, двинулся к мухам. Мама стирала в сених, папа дремал под яблоней. Говорят (потом узнал), что, когда идешь на высоте, нельзя смотреть вниз. Я не знал, посмотрел на кирпичи, голова вдруг закружилась, и я полетел вниз головой. Наверно, вскрикнул, ударившись лбом о камни. Помню только, что лицо сразу стало мокрым от обильно потекшей крови. Потом помню потолок надо мной, лицо мамы, склоненное надо мной, и слышу ее отчаянный крик: «Карл!!! Карл!! Ты где?!!»

Отец вбежал в комнату. Как они вспоминали, мама держала меня на коленях, а колени ходили ходуном, ко лбу она прижимала белую мокрую тряпочку, которая тут же

становилась красной от крови. Баба Люба нарвала много таких чистых тряпок, мочила в ведре и давала их маме. Папа оцепенело стоял рядом. И моргал глазами: «Таня, что делать?» Похмелье его еще не отпустило. Мама молча прикладывала тряпицы к моему лбу, потом вдруг сорвалась: «Ну что стоишь, как столб, — крикнула она отцу. — Беги за Гоги!» И папа побежал, побежал на другой конец деревни, а это было километра три. Пока его не было, колени у мамы продолжали дрожать, а зубы стучали. Как уж бежал папа, трудно вообразить, но минут через двадцать они оба ввалились в сени, папа тащил Гоги за руку, но и тот не отставал.

— Давай, Таня, показывай, что с Вовкой. Ты тряпку-то убери. Я все-таки доктор.

В руках он держал большой пузырек перекиси водорода и огромней кусок ваты. Обмакнул вату в перекись и снял аккуратно с моего лба промокшую от крови тряпку, приложил вату с перекисью, которая сразу зашипела, коснувшись раны, я вскрикнул. Гоги промыл рану, приговаривая: «Терпи, сын офицера. Боль надо преодолевать».

У мамы губы шевелились с трудом, когда она спросила: «А Вовка поправится? Сумасшедшим не станет? У него же голова пробита». Гоги профессионально перебинтовывал мою голову, морщился и ухмылялся: «Таня, успокойся, до свадьбы, до нашей с тобой свадьбы заживет». Мама в испуге первый раз подняла на него глаза: «То есть никогда?» Гоги спросил: «Не хочешь, да? Карла своего любишь? Да мне он тоже нравится. Ну что ж, так судьба сложилась».

Голова моя зажила, но шрам на лбу с левой стороны был весьма заметен. Уже много позже моя насмешливая вторая жена спросила: «Что за шрам? Рог пилил?»

### III. Завтра

А когда мне исполнилось лет пять (а может, четыре, точнее не могу вспомнить), почти сразу после моего дня рождения, на который мама позвала соседских девочек и мальчиков, я тяжелейшим образом заболел скарлатиной. Она проявилась довольно быстро: сильнейшая головная боль. Глотать было больно, а по всему телу пошла розовая сыпь. Мама сразу вызвала врача, температура перевалила за 39. Доктор, маленький, полный, молодой, по фамилии Ляпис быстро осмотрел меня, показал маме мой в пупырышках язык, выписал полоскания, все названия не запомнил, фурацилин помню точно и уколы привычного мне пенициллина. Но доктора больше всего интересовали лимфатические узлы у меня сзади на шее. Как потом выяснилось, не зря. Но это другая история. Я лежал в постели, на краю постели сидела мама, доктор рядом на стуле. В дверь заглядывали бабушка Мина и отец, причем бабушка не давала отцу войти в комнату. Доктор Ляпис спросил: «Другие дети есть?» Мама покачала отрицательно головой. «А взрослые все болели?» Мама не болела, но ответила твердо: «Это не важно». В комнату наполовину вдвинулась бабушка Мина: «Карл не болел. Ему нельзя с Вовочкой контактировать. А ведь больных скарлатиной детей обычно отправляют в больницу». Доктор ухмыльнулся: «Если очень тяжелая форма либо по просьбе родственников». — «Так вот мы просим», — твердо произнесла, будто впечатала слова, бабушка Мина. Мама была в растерянности. Прижалась ко мне, стала целовать лицо.

Доктор сказал: «Я еду в поликлинику, пришлю оттуда „скорую“. Надо договориться с шофером. А вы пока форточку откройте, душно здесь. Ему свежий воздух нужен». И ушел, пройдя сквозь бабушку и отца, как сквозь стенку. Затем бабушка вытолкала отца из комнаты: «Ты скарлатиной не болел, а у взрослых она всегда проходит в тяжелой форме». Но отец оттолкнул бабушку и решительно вошел в комнату, закрыв перед бабушкой дверь. Не мог он оставить любимую жену и сына без поддержки. Хотя какая уж тут поддержка! Я смотрел на занавески, которые, казалось, были столь тяжелы, что словно душили меня. Мама не плакала, но глаза были мокрые, словно она их

только что под водой мочила. Открыв форточку, она укутывала меня одеялом, подтыкая со всех сторон, чтобы холодный воздух не проникал ко мне. Шупала все время лоб, температура не спадала. Отец сидел рядом, на краю постели. Я сам чувствовал, что лоб горит. Голова была тяжелая. Горло болело так, что даже слюну проглотит не мог. Мама спросила, смогу ли я дойти до ванной, прополоскать горло. Я кивнул. Она быстро ушла на кухню готовить полоскание. Когда она вернулась со стаканом в руке, я уже вытащил ноги из-под одеяла, чтобы встать. В стакане плескалась желтоватая жидкость — фурацилин. Я попытался встать, но именно попытался. Меня пошатывало. Мама подхватила меня, придержала за плечи и аккуратно шаг за шагом вела меня в ванную к раковине. Там, запрокинув голову, я булькал в горле лекарством. В зеркале над раковиной я углядел непривычный мне ярко-малиновый румянец на обоих щеках. Ноги при этом подгибались. Мама увидела это и повела, почти понесла меня, обняв за плечи. Отец подхватил меня с другой стороны, подняв ноги. Они донесли меня до постели. Я туда свалился, как какой-то куль. Глаза закрылись, открыть я их не мог. И забылся в беспомощности.

Так я теперь думаю. Поскольку открыл я их уже в больничной палате. Доктор Ляпис сделал то, что обещал: прислал машину «скорой». Чужой белый потолок, чужая простыня, тоненькое одеяло, а на дворе конец февраля. На мне пижама в полоску, как у заключенного, было холодно. За дверью услышал мамин голос, она спорила о чем-то со старшей медсестрой. Потом она распахнула дверь. Следом за ней шла медсестра и все повторяла: «У нас не должно быть исключений. Почему ваш сын должен лежать, прикрытый еще и пледом? А как же остальные дети?» Мама резко повернулась к ней: «А остальным вы выдадите вторые одеяла, они у вас есть. Я узнавала». Так утеплилась наша палата. Мне делали уколы. По утрам на тумбочку ставили коробочку с лекарством. Там обычно лежали три таблетки — на утро, день и вечер. Очевидно, дней через десять-двенадцать я пошел на поправку. И ужасно захотел домой. И каждый раз, когда приходила мама, я спрашивал ее: «Когда ты меня заберешь?» И каждый раз она отвечала: «Завтра». Наступало «завтра», мама приходила, я вопрошающе смотрел на нее: «Ты меня забираешь?» Но она отвечала: «Я ведь обещала забрать тебя завтра, а сегодня ведь „сегодня“. Потерпи до завтра». Так повторялось несколько дней подряд. Я уже смотрел на маму как на обманщицу. Хотелось плакать, когда видел, как она входит ко мне в палату. И в голову тогда маленькому не приходило, как мама ухитрится отпрашиваться с работы, где она обязана сидеть все восемь часов. Мне было обидно, что слово «завтра» заколдованным стало, что оно все никак не наступит.

Уже много позже я прочитал в книге маркиза де Кюстина, что в России есть волшебное слово «завтра», означающее, что обещанное никогда не наступит. И все же Россия всегда держалась на русских женщинах, которые делали «завтра» реальностью. И вот в какой-то день мама вошла в палату с большой сумкой. И я сразу все понял. Это было обещанное мамой ЗАВТРА. Это была моя одежда. Мама меня забирала домой!